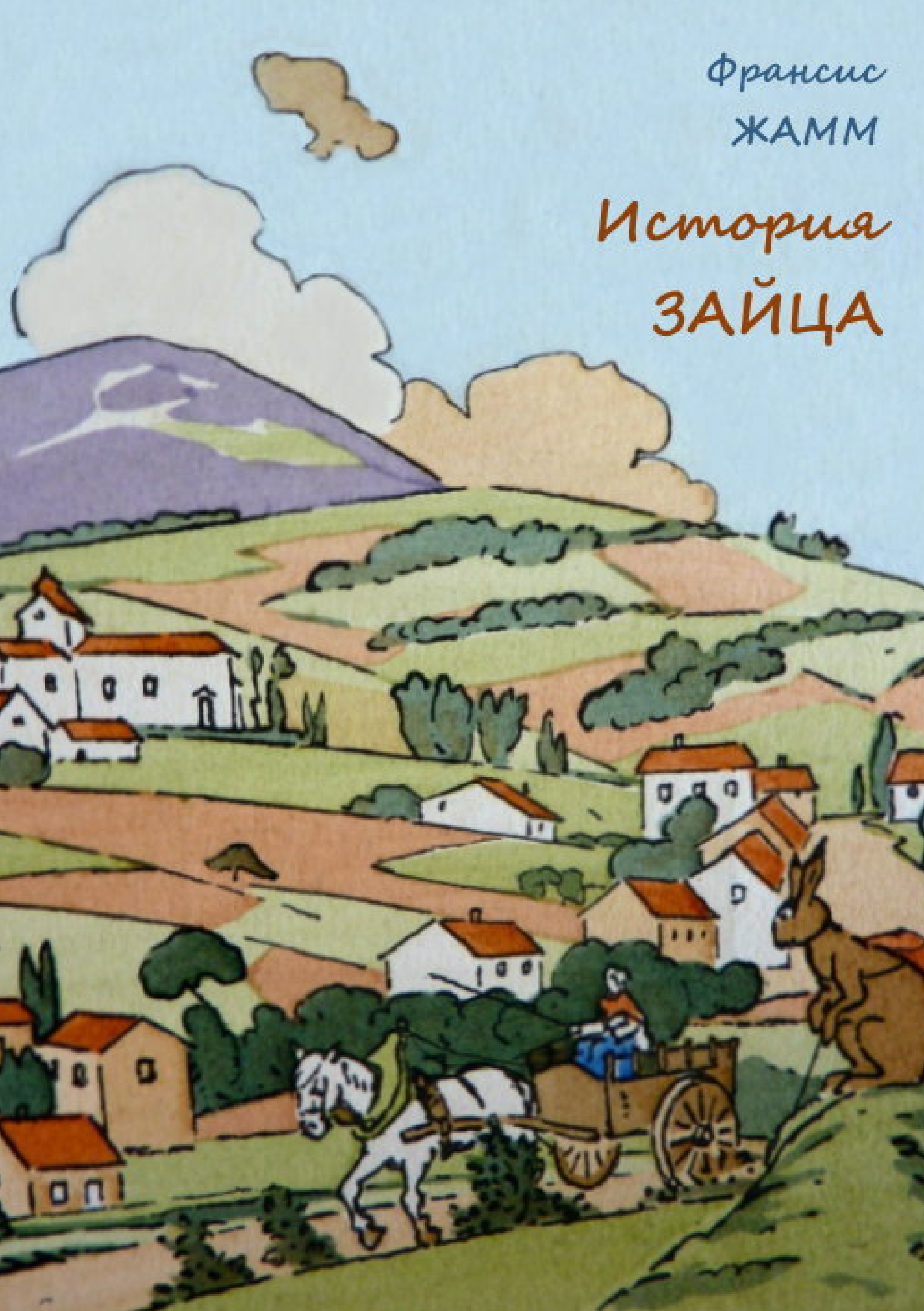

Франсис
ЖАММ
История
ЗАЙЦА



**Salamandra P.V.V.**

Франсис
ЖАММ

# ИСТОРИЯ ЗАЙЦА

Избранное
Том II

Salamandra P.V.V.

**Жамм Ф.**

История зайца. Пер. с фр. Е. Шмидт. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 84 с., илл. – (Жамм Ф. Избранное. Том II).

Во второй том «Избранного» французского поэта-символиста, прозаика, драматурга и критика Ф. Жамма (1868-1938) вошла знаменитая повесть «История зайца», а также некоторые новеллы и стихотворения. Многие переводы переиздаются впервые.





# ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда я раскрываю какую-нибудь книгу, помеченную 1888 г. — эпоха, когда я выступил впервые — я нахожу в ней только вой вагнерианцев, картонных лебедей, гермафродитов, украшенных ненюфарами или же звонкие стихи в духе Арманда Сильвестра, стихи поэтов, чья муза напоминала ярмарочную акробатку, у которой лопаются штаны под аплодисменты собравшихся на состязание.

Между тем подымалась песня, которая, казалось, хотела рассеять этот туман подозрительных видений. И странное дело! Тот, кто, надувая щеки, играл на лесной свирели, среди прелестей сияющей земли, скрытой изобилием роз, в манере Теокрита или Руссо, тот, кто играл так — был Стефан Малларме, который на этот раз, сбросив крылья змия, предстал пред нами, как фавн деревенского полдня. Тогда простые сельские песни ответили на его голос. Франсис Виелле-Гриффен под дубами Назем запел гимн, пахнувший свежей корой, и к гиппогрифам, химерам, драконам, грифам, змеям, единорогам пустил стадо своих превосходных свиней. С своей стороны я решился в «Одном дне» присоединить к инкубам, вампирам здоровую невесту, каждое утро моющую ноги. Леконт де Лиль, признававший только пекари, нашел поросят Гриффена безобразными. И все, посещавшие вампиров в базальтовых гротах, сердились на мою героиню за то, что она была пламенной под розами в садовой беседке, за то, что она ходила за курами и утятами, завязывала банки с вареньем, раздевалась в светлой комнате и ложилась спать в плетеную кровать.

Меня обвиняли.

Все же за «Свинопасом» шесть лет спустя последовали «В Аркадию», а за «Одним днем», появившимся только в 1896 г., через пять лет «Жан Нуаррьо». В то время, когда одна и та же струя задувала светильники

Лоэнгрина и освещала зарей стада, зрели новые творческие создания. Медленным и прекрасным движением гений Метерлинка вывел из бездны рой ослепляющих пчел. Андре Жид, восходя по лестнице Аладина, поднял из-под белого покрывала волшебную лампу, озарившую магические источники, но, увы, таившую в себе тонкий яд.

Поль Клодель, украшенный кораллами и золотыми рыбками, появился из индийских морей, из первобытной жизни, в которой его чистая, христианская душа зрела, как жемчужина. Должен ли я сказать, что никто из нас не требовал первенства, — на него никто не имел права.

Стефан Малларме учил нас, что Дух идет, не ведая откуда и куда. Он внушил нам достоинство, самоотверженность, согласие, необходимые в этой страшной борьбе за красоту, охраняемую двумя псами: безумием и голодом. Мое сердце бьется до сих пор, когда я вспоминаю выражение, с которым мне жали руку предшественники в ту пору, когда мое искусство, как казалось, было их врагом. Мы были гриффенистом, реньеристом, самменистом, жаммистом, каждый в отдельности. Мы знали, что по выражению Карьера, только трупы не чувствуют родства. Мы не нуждались в «натуристах», мы не нуждались в «гуманистах», мы не нуждались в тех, кто только умеет перекрещивать имущество другого, чтобы публично присвоить его себе.

Мы сознавали, что великое движенье было роковым, что оно протекало выше нас в облачных пространствах при участии богов.

И поэтому мы опустили головы и взглянули на ноги.

Взглянув на ноги, мои друзья и я, мы полюбили скромность и простоту. К простоте и к скромности идет искусство.

Меня все более и более отталкивает сложное и трагическое. Я не люблю трупов, в третьем акте выбрасываемых из окна. «Случай» меня раздражает. Для меня нет доктринерской литературы и патологическаго или юридического театра. Я остался бы доволен пьесой, в которой изображался бы человек, молча сидящий на берегу ручья. Я долго бы рассматривал, как течет вода на декорации. Я совсем не люблю, когда меня хотят развлечь или разжалобить преувеличенными средствами. Одна женщина, написавшая художнику, что искусство, бьющее по нервам, смешно, мне не кажется странной. Всякая драма, даже самая хорошая, неприятна. Эдип, выкалывающий себе глаза, противен.

Современному человеку, чтоб волноваться, не надо криков дикарей.

Мы идем к уничтожению в литературе всяких эффектов. Слава Богу!

Что касается меня, то я сяду на мягком лугу, —принято говорить, что луга мягкие, — закину удочку в голубые искры задремавшей воды, закурю трубку и буду слушать, как кричат бекасы, или глядеть как реполов строит гнездо. Я опишу это без красноречия. Я хочу искусства мирного, бегущего от всякого треска, в котором моя душа раскрылась бы, как распускается цветок, чистый, в слезах, среди робких сумерек. Я хочу, чтобы искусство было ни большим и ни меньшим, чем блеск жука, чем лунный луч, замедлившийся на ветке фуксии, чем улыбка ребенка на улице, чем жалоба больной. Я хочу, чтобы изображенная жизнь была проста: обед у сада в семье, его торжественная меланхолия, слова, падающие в рассеянном свете. Я страшусь скоморохов, риторов, возвышающих свой голос, трибунов, рычащих растрепанные стихи.

О, Красота, как ты стыдлива. Дерево, несмотря на твое величье, говорит о тебе легким шепотом. И ты старуха, ты протягиваешь к ветхому порогу свои немые уста и говоришь только привычной жалобой своей прялки...

К вам я иду.

Франсис Жамм.
1905 г.

P. S. Мои предсказания исполнились за эти семь лет. Простота победила вырождение. И теперь я могу добавить, что всякая истинная поэзия, которая зазвучит во Франции, будет католической.

Декабрь, 1912 г.

# ИСТОРИЯ



# ЗАЙЦА

ЛУИ БАРБЕ

На память о Балансоне и тенистом Кастети, о ручье, который меж незабудок отражает твою тихую и покойную жизнь.

Ф. Ж.

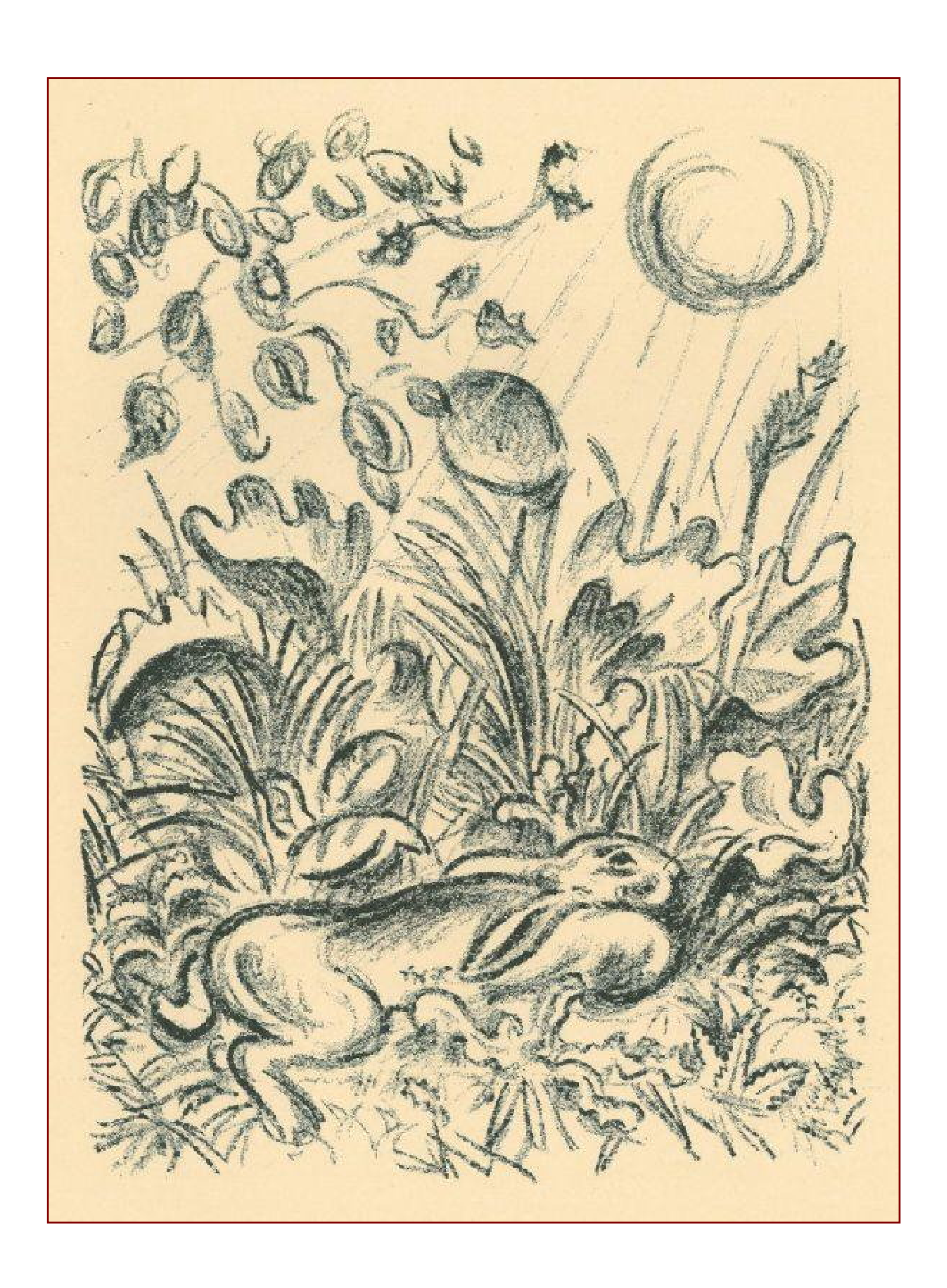
Среди росистого тмина Заяц, прислушавшись к звукам погони, начал взбираться по мягкой глинистой тропинке. Он боялся своей тени, за ним вслед бежал вереск, а голубые колокольни вырастали из долин. Он спускался и подымался, и его прыжки наклоняли траву с нанизанными на ней каплями. Теперь он был братом быстрых жаворонков. Пересекая шоссейную дорогу, он поколебался около верстового столба, прежде чем бежать по проселочной; белая от солнца и гулкая на перекрестках, она терялась в темном и молчаливом мху.

В этот день он чуть не споткнулся о двенадцатый верстовой столб между Кастети и Балансоном, потому что его испуганные глаза посажены по бокам. Он остановился сразу, его расщепленная губа задрожала незаметно и обнажила резцы. Затем его гамаши бродяги соломенного цвета со стертыми и обломанными когтями вытянулись, и он прыгнул через изгородь, сжавшись и пригнув уши к спине.

И снова подымался он медленно, пока собаки в отчаянии теряли его след. И снова спускался он до дороги в Совжент. Здесь он увидал лошадь, запряженную в тележку. Вдали дорога пылила как в сестре Анне, когда говорят: «сестра, ты ничего не видишь». Бледная сухость ее была прекрасна, горько напитанная мятой. Скоро лошадь поравнялась с Зайцем.

Это была кляча, тащившая одноколку. Она могла идти только галопом. Расслабленный остов ее подпрыгивал от каждого шага, хомут покачивался, и землистая грива, зеленая и блестящая, как борода старого моряка, моталась из стороны в сторону. Животное с трудом подымало распухшие, как булыжник, копыта.

Заяц испугался этой живой машины, двигавшейся с таким шумом. Он подпрыгнул и продолжал бегство по лугам, мордочкой к Пиренеям, хвостом к степям,



правым глазом к восходящему солнцу, левым к Меплез.

Наконец, он притаился в жниве, недалеко от перепелки, отупевшей от жары и дремавшей, как куры, животом в пыли.

Утро перешло в полдень. Небо побледнело от жары и стало светло-серым.

Плавал сарыч, отдаваясь без труда полету и образуя все более и более широкие круги. В отдалении голубая скатерть реки лениво уносила отражения ольховых деревьев. Их клейкие листья распространяли горький запах и выделялись своей резкой чернотой на бледном, водяного цвета, воздухе. Около плотины стаями скользили рыбы. Звук колокола ударил своим голубым крылом знойную белизну колокольни, и отдых Зайца начался.

* * *

До вечера он оставался в жниве неподвижный, раздражаемый только тучей мошек, дрожащих, как дорога на солнце. Потом в сумерках он сделал два прыжка вперед и два других направо и налево.

Начиналась ночь. Он подошел к речке. С прялок тростника свешивались в лунном свете кудели серебристых туманов.

Заяц присел на пахучее сено, счастливый гармоничными звуками в эти часы и призывами перепелок, звучащими как фонтаны.

Может быть, люди умерли. Единственный бодрствовал вдалеке, двигаясь над водой и вытягивая бесшумно свои сети, струящиеся в лугах. Только сердце вод было этим встревожено — заячье оставалось спокойным.

Вот среди дятла показался комок. Это приближалась возлюбленная.

Заяц направился к ней и они встретились посреди голубой отавы. Их мордочки сблизились. И меж дикого щавеля они целовались, точно щипали траву. Они играли. Затем голодные направились, медленно бок о бок, к ферме, раскинувшейся в сумраке. В жалком огороде, куда они проникли, капуста хрустела, тмин был горьким. Соседний хлев дышал. Поросенок, просунув под дверь свое подвижное рыльце, тянул носом воздух.

Так прошла ночь в любви и в еде. Мало-помалу сумрак уступил заре. Показались вдали пятна. Все начало дрожать. Смешной петух прервал тишину, взобравшись высоко на курятник. Он кричал свирепо и аплодировал себе обрубками крыльев.

Заяц и его подруга расстались около изгороди из шипов и роз. Казалось, среди тумана возникала деревня из хрусталя. В поле видны были озабоченные собаки, которые, махая жесткими, как канаты, хвостами, старались распутать среди мяты и соломы идеальные кривые, описанные милой парочкой.

* * *

Заяц нашел убежище в мергельной ломке, осененной тутовыми деревьями. Здесь он остался до вечера, сидя с открытыми глазами. Он держался как король под сводом ветвей, украшенных после ливня каплями голубого солнца. Он дремал. Но неспокойный отдых знойным пополуднем давал ему тревожный сон. Он совсем не знал ни безмятежного замирания ящерицы, жизнь которой едва трепещет во время сна на ста-



рых стенах, ни доверчивого отдыха барсука в норе, полной прохлады.

Малейший шум напоминал ему об опасности всего, что двигается, падает, ударяет, необычное движение теней — приближение врага. Он знал, что в логовище только тогда хорошо, когда все в нем остается таким же, как за минуту до этого. Поэтому и любил он порядок и неподвижность. Отчего мог бы затрепетать лист шиповника в голубом покое жаркого дня? Отчего начала бы дрожать тень леса, такая неподвижная, что время кажется остановившимся?

Почему захотел бы заяц смешаться с людьми, собирающими недалеко от его засады колосья маиса, бледные зерна которых пронизаны лучами солнца? Его веки без ресниц не могли привыкнуть к яркому трепету полудня, и уже поэтому он сознавал всю опасность близости тех, которые без ослепления глядели на белое пламя жнива.

Пока не наступало время выхода, ничто не могло его вызвать из убежища. Его мудрость покорялась гармонии. Жизнь для него была музыкой, где каждая нестройная нота напоминала ему об осторожности. Он не смешивал голоса своры с отдаленным звуком колоколов, ни движения человека с качаньем дерева, ни выстрела с громом, ни грома с грохотом телеги, ни свиста ястреба со свистом паровой молотилки. Таким образом составился язык, где слова считались врагами.

* * *

Кто мог сказать, откуда заяц обладал этой осторожностью и мудростью? Их происхождение терялось во мраке веков, где все сливается.

Сошел ли он с Ноева ковчега на гору Арарат в час, когда голубь, сохраняющий и до сих пор в своем воркованпи шум великих вод, принес весть, что убывает вода? Таким ли он был создан этот Куцый Хвост, Рыжая Шерстка, Заячья Губа, этот Ушастик, эта Стертая Лапка? Бросил ли его Творец внезапно под лавры Эдема?

Видел ли он, притаившись под розовым кустом, Еву? Она гуляла как упрямая кобылица среди касатиков. Ее ноги были нежны и золотые груди просвечивали сквозь сказочные гранаты.

Или он был вначале только раскаленным туманом? Может быть, он жил уже внутри порфира? Или несгораемый, он воскрес из лавы, чтобы жить в клеточках гранита и водорослей, прежде чем осмелиться показать свой нос?

Обязан ли он сверкающим струям своими глазами цвета смолы? Глинистым лимонам своею шерстью? Водорослям своими мягкими ушами? Жидкому огню своей быстрой кровью?

Зайца мало беспокоило его происхождение: в этот момент, он спокойно отдыхал в мергельной ломке. Стоял грозовой август и темно-синее небо клонящегося к концу дня, вздувалось кое-где и готовилось разразиться ливнем над долиной.

Скоро дождь начал стучать по заросли терновника. Длинные струи барабанили все сильнее. Но Заяц не боялся его; дождь был послушен ритму, уже знакомому. Впрочем дождь его не достигал, не проникая еще сквозь покров растений. Только одна капля, ударяясь и звеня, падала на одно и то же место.

Итак, сердце Стертой Лапки не тревожилось этим концертом. Он был знаком с гармонией, связующей как строфы, слезы дождя. Он знал, что ни человек, ни лисица, ни ястреб не участвуют в ней. Небо было как

арфа, сверху вниз тянулись серебряные нити дождя. И внизу все заставляло их звучать по-своему. Под зелеными пальцами листьев, хрустальные струи звучали воздушно и глубоко, как голоса души туманов. Глина, тронутая ими, рыдала, как девушка, взволнованная южным ветром. Там, где она была более сухой и жаждущей, слышался звук поглощения, вдыхания горячими губами, которые уступали надвинувшейся грозе.

* * *

Ночь после грозы была ясной. Дождь почти испарился. После него остались только клочки пустого тумана на лужайке, где заяц встречался со своей подругой. Казалось, райские хлопчатники разрывали свои стручья в лунном потоке. На откосе кустарники, отяжелевшие от дождя, выстроились как странники, склоненные под котомками и бурдюками. Царил мир. Вечерняя заря, потрясаемая ознобом, ожидала свою сестру — утреннюю зарю, и трава коленопреклоненная молилась ей.

Вдруг Заяц, сидя посреди поляны, увидел человека, идущего к нему, и совсем не испугался. В первый раз с того времени как человек расставляет западни и натягивает лук, инстинкт бегства замер в душе Стертой Лапки.

Приближавшийся человек был одет как ствол дерева зимой, когда его окутывает мох. Его голову покрывал капюшон, на ногах были сандалии. У него не было палки. Его руки были сложены; он был одет в платье, опоясанное веревкой. Костлявое лицо, обращенное к луне, казалось бледнее ее. Выделялись орлиный

нос, глубокие глаза, как у ослов, и черная борода, в которой лесной кустарник оставил клочья овечьей шерсти.

Две горлицы сопровождали его. Они скользили с ветки на ветку в тишине ночи. Их влюбленная погоня крыльев напоминала лепестки опавших цветов, мечтающих соединиться вновь и раскрыть свой венчик.

Три несчастных собаки в колючих ошейниках шли, помахивая хвостами, впереди человека, старый волк лизал его одежду. Овца и ягненок приближались по крокусам блеющие, неуверенные и очарованные, топча изумрудную сирень. Три ястреба пытались играть с горлицами. Боязливая ночная птица свистела радостно в дубах, потом взлетала и соединялась с ястребами, горлицами, ягненком, овцой, собаками и человеком.

Человек приблизился к зайцу и сказал:

Я Франциск, о мой брат! Я тебя люблю и приветствую. Я приветствую тебя именем этого неба, которое отражает воды и сверкающие камни, именем дикого щавеля, коры и зерен, служащих тебе пищей. Иди с невинными, сопровождающими меня; они привязались ко мне с верой плюща, который ползет по дереву, не думая о том, что скоро может прийти дровосек. О Заяц, я несу тебе Веру, ее мы питаем друг к другу, Веру как сама жизнь. О Заяц милый, нежный, о тихий бродяжка, хочешь ли ты принять Веру?

И пока Франциск говорил, все животные остановились, слушая доверчиво слова, которых не понимали.

Только Заяц, широко открыв глаза, казался испуганным звуками слов. Он держал одно ухо вперед, другое назад, готовый бежать и остаться.

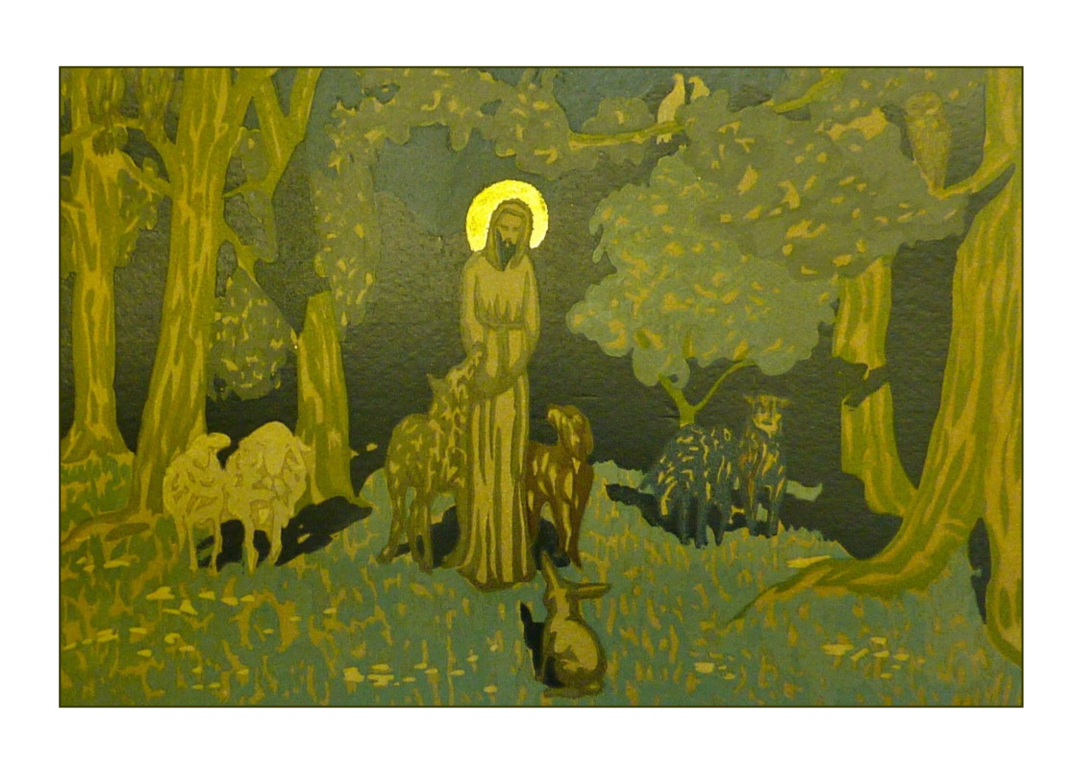
Видя это, Франциск сорвал на лужайке пучок травы, протянул ее Стертой Лапке, и Заяц пошел за ним.



С этой ночи все бродили вместе.

Никто не мог их обижать, потому что их защищала Вера. Когда Франциск и его друзья останавливались на площади села, где танцуют под звуки волынки, в час, когда грустят ольхи, и за черными столами кабатчиков девушки подымают бокалы и хохочут, их окружали люди. Молодые парни, стрелявшие из лука и ружей, никогда не подумали бы убить Зайца, так удивляла их его смелость. Они сочли бы за жестокость обмануть бедное животное, сложившее свое доверие к их ногам. Франциска считали человеком способным приручать животных и открывали ему иногда по ночам риги, подавая милостыню. Он принимал ее, чтобы давать своим друзьям все, что они любили.

Впрочем они легко кормились. Осень была щедра и заставляла гнуться амбары. Им позволяли собирать колосья на полях маиса и участвовать в сборе винограда, певшего в лучах заходящего солнца. Светловолосые девушки давили грозди на нежной груди. Их поднятые локти блестели. Над темной синевой каштанов текли падающие звезды. Бархат туманов сгущался. Слышался шорох платьев в глубине аллей.



Они любовались морем, повисшим в пространстве, склоненными парусами и белыми песками, покрытыми тамарисками, лесными яблонями и соснами. Они проходили сияющие долины, где поток, спускаясь с непорочных снегов, делается ручьем, но еще сверкает, вспоминая анемоны и морозы. Когда звучал охотничий рог, заяц оставался спокойным среди своих товарищей, которые берегли его и которых он охранял. Однажды свора, приблизившись к нему, отступила при виде волка; кошка, преследовавшая горлиц, убежала от трех собак в колючих ошейниках, хорек, подстерегавший овцу, спрятался от хищных птиц. Стертая Лапка испугал ласточек, набросившихся на сову.

* * *

Стертая Лапка особенно подружился с одной из собак. Это была нежная маленькая ищейка с коротким хвостом, висячими ушами и согнутыми дугой ногами. Она была вежлива и благовоспитанна. Она родилась в свином стойле у сапожника, охотившегося по воскресным дням. Ее хозяин умер. Никто ее не приютил, и она бродила по полям, пока не встретила Франциска. Заяц шел рядом с ней. Засыпая, она клала мордочку на него, и он дремал. Все отдыхали, и сон их был полон сновидений, под бледным огнем полдня.

Франциск видел тогда снова рай, откуда он спустился. Он входил через широко раскрытые ворота по главной дороге, где стояли дома Избранных. Эти низкие лавочки, все равные между собой, лежали в такой яркой тени, что хотелось плакать от радости. В глубине лавок блестели рубанки, молотки, напилки. Там продолжалась великая работа. Потому что на вопрос

Бога, чего хотят пришедшие к Нему люди в награду за их земные дела, они просили сохранить им то, что помогло им достичь Неба. И тогда их скромные обязанности покрылись какой-то тайной. Рабочие показывались на порогах, где были накрытые столы для ужина. Смеялись небесные колодцы. И на площадях ангелы, похожие на рыбачьи лодки, склонялись в хвале сумеркам.



Животные же не видели в своих снах ни землю, ни рай такими, как мы их представляем и видим. Они грезили о расплывчатых пространствах, где их чувства сплетались. Что-то туманилось в них. Лай своры сливался у Зайца с теплотой солнца, с внезапным выстрелом, с сыростью лап, с головокружительным бегом, с испугом, с запахом глины, с блеском ручья, с качаньем дикой моркови, с шуршаньем маиса, с лунным светом, с волнением при виде подруги, возникающей из запаха таволги.

Все сквозь закрытые веки видели отсветы своей жизни. Горлицы защищали от солнца свои подвиж-

ные, маленькие головки; в тени крыльев они искали свой Рай.

* * *

Когда пришла зима, Франциск сказал своим друзьям: «Будьте благословенны, ибо Господу принадлежите вы. Но я тревожусь: крики приближающихся гусей напоминают о приближении голода. Небо говорит, что земля не хочет быть к вам милосердной. Хвалите тайные замыслы Бога».

* * *

Действительно, земля вокруг них была печальна. С неба со вздутыми бурдюками лился мутный свет. Плоды изгородей и садов умерли. И зерна покинули стручки, чтоб уйти в лоно земли.

«Хвалите тайные замыслы Бога», сказал Франциск. «Может быть, Он хочет, чтобы вы меня покинули и пошли каждый в свою сторону, в поисках пищи. Тогда отделитесь от меня, потому что я не могу следовать за всеми, и идите в разные стороны. Вы живые, и вам необходима пища, я же, воскресший, нахожусь здесь, по милости Божьей, вдали от плотских нужд. Мое пребывание было мне даровано, чтобы вести вас до сего дня. Я чувствую, что моя мудрость иссякла и я не смогу больше заботиться о вас. Если вы хотите меня покинуть, пусть развяжется язык каждого, и пусть он мне это скажет».

Первым заговорил волк.

Он посмотрел на Франциска, подняв морду. Его обдерганный хвост мотался от ветра. Он кашлял. Его окутывала нищета. Жалкая шерсть придавала ему вид низверженного короля. Он обдумывал, оглядывая своих товарищей. Наконец, из его пасти вырвался хриплый звук. И когда он оскалил зубы, обнажилось его старое страдание. Взгляд его был так дик, что нельзя было решить, будет ли он кусать или лизать своего господина.

Он сказал:

«О соты осиротелые! О Бедный! О Сын Божий! Как покину я тебя? Ты наполнил радостью мою жалкую жизнь. Я ночами следил за дыханьем собак, пастухов, огней, чтобы уловить минуту и вонзить острые клыки в горло уснувших овец. Ты научил меня, Благословенный, нежности садов. И теперь, когда желудок мой сжимается от жажды мяса, я питаюсь твоей любовью. Как сладок был мне голод, когда моя морда касалась твоих сандалий. Этот голод я несу, чтобы следовать за тобой, и я охотно умру за твою любовь».

И горлицы ворковали.

Они прекратили свой зябкий полет в ветвях засохшего дерева. Они не могли решиться заговорить. Казалось каждую минуту, что они начнут, но вдруг, испуганныя, они снова наполняли рыдающими белыми ласками лес. Они трепетали, как молодые девушки, которые обнявшись плачут. Они заговорили вместе, как будто у них был только один голос.

«О Франциск, более прелестный, чем огонек светляка во мху, более милый, чем ручеек, поющий нам, когда мы вьем наши гнезда в пахучей тени молодых тополей. Что значат неурожай и мороз, которые хотят нас оторвать от тебя и угнать в плодородные страны? Ради тебя мы полюбим неурожай и холод. Ради твоей любви мы отречемся от нашей, и если мы должны

умереть от холода, господин, мы погибнем, прижавшись друг к другу».

* * *

И одна из собак в колючем ошейнике выступила вперед. Это была ищейка, подруга Зайца. Она, как волк, чувствовала уже жестокий голод и щелкала зубами. Ее уши сморщились, подымаясь, ее хвост, мохнатый как стручок, висел неподвижно. Глаза цвета желтой малины были устремлены на Франциска с усердием непобедимой Веры. Товарищи приготовились ее слушать, доверчиво склонив головы в знак незнания и доброты. И овчарки, не слыхавшие ничего кроме рыданий рожка, блеяния стад и ударов молнии на вершинах, ожидали, радостные и гордые, чтобы маленькая ищейка заговорила.

Она сделала шаг вперед, не издав ни одного звука, лизнула руку Франциска и легла у его ног.

* * *

И заблеяла овца.

Это блеяние было так печально, что душа ее, казалось, испарялась уже при одной мысли покинуть Франциска. Когда она умолкла, послышался вдруг голос ягненка, охваченного какой-то грустью и плачущего как ребенок.

И овца заговорила:

«Ни тишина медунки, тускнеющей от росы на заре, ни лакрица гор с серебристыми каплями тумана, ни

подстилка закоптелой хижины не могут сравняться с лугами твоего сердца. Разлуке с тобой мы предпочитаем кровавую бойню, качанье тележки, везущей нас блеющих со связанными ногами. О Франциск, потеря тебя будет нашей смертью, потому что мы тебя любим». Пока она говорила, сова и ястребы сидели неподвижно, с глазами полными ужаса, прижимая крылья, чтобы не улететь.

* * *

Заяц заговорил последним.

Одетый шерстью цвета соломы и земли, он казался богом жнива. Среди природы, обездоленной зимой, он был остатком лета. Он напоминал дорожного рабочего и деревенского почтальона. Его ушей достигали все заглушенные шорохи. Одно ухо, обращенное к земле, подслушивало, как скрипит мороз, другое, поднятое вверх, слушало, как от ударов топора гудит мертвый лес.

«О Франциск», сказал он, «я могу питаться замшенной корой, она размягчается под лаской снега и делается пахучей от зимних зорь. Не раз насыщался я ею в эти бедственные дни, когда терновый куст кажется розовым кристаллом и вертлявая трясогузка пронзительно кричит по червякам, которых напрасно пытается достать из-под льда. Я буду грызть кору. Потому что, о Франциск, я не хочу погибать с моими милыми товарищами, но хочу жить с тобой, питаясь горькой корой дуба».

Товарищи Зайца решили не покидать друг друга и умирать вместе, в этом краю, опустошенном зимой,

потому что только расставаясь они могли сохранить жизнь.

Однажды вечером увядшие горлицы оборвались с ветки, на которой сидели, и волк закрыл навеки глаза, положив морду на сандалии Франциска. Два дня уже он не мог держать отяжелевшей головы, и хребет его походил на грязный терновый куст, дрожащий под ветром. Франциск поцеловал его в лоб.

Затем умерли ягненок, овчарки, ястребы, совы, овцы и, наконец, и маленькая ищейка, напрасно согреваемая Зайцем. Она умерла, вытянув хвост. Рыжая Шерстка так горевал о ней, что не дотрагивался целый день до дубовой коры.

* * *

Франциск молился, в отчаянии уткнувшись головой в руки, как поэт, чувствующий, что еще раз душа его ускользает.

Потом обратился он к Заячьей Губе:

«О Заяц, я услышу голос, приказывающий тебе повести их (и он указал на трупы животных) к вечному Блаженству. О, Заяц, есть Рай для животных, но я не знаю его. Ни один человек не может туда проникнуть. Ты должен провести туда друзей, данных мне Богом и отнятых Им. Ты самый осторожный среди всех, и твоей осторожности я их поручаю».

Слова Франциска подымались к просветлевшему небу. И суровая зимняя лазурь сделалась прозрачной. Казалось, что мягкие шелковистые уши нежной ищейки еще раз пошевелятся от внезапной радости.

«О, мои друзья, вы умерли», говорил Франциск; «умерли ли вы? только я сознаю вашу смерть. Чем до-



кажете вы Ему, что вы не спите? Умер или уснул плод лютика, когда ветер не шевелит больше его ресниц? О Волк, может быть, тебе не хватает только дыхания, чтобы надуть твои бока? И вам, горлицы, чтобы насупиться как вздох? И вам, овцы, чтобы нежным плачем усладить прелесть затопленных лугов? И тебе, сова, чтобы превратить рыдание в жалобу влюбленной ночи? И вам, ястребы, чтобы подняться с земли? И вам, овчарки, чтобы ваше тявканье слилось с голосом запруды? И тебе, ищейка, чтобы возродился твой ум и ты снова играла со Стертой Лапкой?»

Вдруг Заяц прыгнул с кочки, на которой сидел, в воздух и не упал обратно; точно топча клеверное поле, он прыгнул еще раз в пустоту. Едва он это сделал, как заметил рядом ищейку. Он спросил ее радостно: «Разве ты не умерла?» И она ответила ему, прыгая: «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Отдых мой сегодня был тих и спокоен».

Заяц увидел, что остальные животные следовали за ним в пространство. По другой же дороге шел Франциск и делал знаки Волку, чтобы тот доверился Стертой Лапке. И Волк, послушный и покорный сердцем, почувствовал, как Вера снова заполняет его, и продолжал свой путь с товарищами после долгого взгляда на своего господина, зная, что для избранных даже разлука блаженна.

* * *

Они покинули зиму. С удивлением топтали они эти лужайки, прежде недоступные для них, над их головами. Необходимость достичь Рай, поддерживала их на небе. Заяц вел своих товарищей ангельскими тро-

пами, оградами лучей, млечными путями, где кометы висели как снопы.

Франциск поручил их ему; он сделал его проводником, потому что знал его осторожность. И разве Ушастик мало показал это свойство — начало мудрости? Разве при встрече с Франциском Заяц не ждал, пока Франциск не протянул ему цветущей травы? И когда его товарищи умерли от голода из любви друг к другу, разве Стертая Лапка не продолжал грызть горькую траву?

Казалось, эта осторожность не покинет его даже на небе: если животные заблудятся, Рыжая Шерстка найдет верный путь. Он не собьется с дороги, не натолкнется ни на солнце, ни на луну, сумеет избежать падающих звезд, опасных как камни пращей. Он распознает лазурные столбы, указывающие число пройденных километров, и названия небесных деревушек.

* * *

Заяц и его товарищи любовались страной, перед ними расстилавшейся. Они никогда не мечтали, как человек, о красоте неба, потому что видели его только сбоку, а не над собой, как царь животных.

Куцый Хвост, Волк, Овцы, Птицы, Овчарки и Ищейка находили небо таким же прекрасным как землю. И все, исключая Зайца, занятого иногда путевыми заботами, наслаждались чистою радостью в этом паломничестве к Богу. Небо, до сих пор недостижимое для них, сменялось мало-помалу землею, столь же недостижимой под ними.

Удаляясь от земли, они смотрели на нее, как на новый небесный свод. По лазури океанов плыли обла-

ка пены, и огоньки лавочек освещали, как звезды, пространство ночи.

* * *

Постепенно приближались они к землям, обещанным им Франциском. Уж алый клевер заходящего солнца и блестящие плоды сумерек, служившие им пищей, наполняли их души райским соком.

Листья и горящие плоды вливали в них какую-то силу лета, заставляя сердца биться предчувствием грядущей радости.

* * *

Достигши обители блаженных животных, — они увидели первый Рай — собак.

Издалека донесся лай. В дупле дуба они заметили дога, сидевшего, как в будке. По его взгляду, пренебрежительному и благодушному, было видно, что у него в голове не все в порядке. Это был пес Диогена; Бог даровал ему одиночество в этой бочке, выдолбленной прямо в дереве. Безразлично глядел он на собак в колючих ошейниках. Затем к их великому удивлению он покинул на минуту свою конуру, надел на себя с помощью морды развязавшийся ошейник и, возвратившись в будку, сказал:

«Здесь каждый радуется, как может».

И действительно Заяц и его спутники увидали собак, разыскивающих воображаемых странников. Они отважно спускались на дно пропасти, чтобы найти их

и принести им немного бульона, мяса и вина в маленьких бочонках, подвешенных к ошейнику. Другие бросались в ледяные озера с напрасной надеждой вытащить утопающего. Они достигали берега дрожащие, оглушенные, но довольные ненужной преданностью и готовые снова броситься.

Другие упорно клянчили старые кости на порогах пустых придорожных хижин, ожидая удара ноги, который придал бы их взгляду какую-то очаровательную меланхолию.

Собака точильщика, высунув язык, радостно вертела колесо точильного камня, который ничего не точил. Но ее глаза светились покорной верой в исполненный долг, и она останавливалась только чтобы передохнуть и потом снова работать.

И овчарки с той же верой старались загнать в овчарню навсегда потерянных овец. Они охотились за ними на берегу ручья, сверкавшего у зеленеющего холма. С этого холма и из лесу спускалась свора, бегавшая весь день по следам воображаемых газелей и ланей. Голоса отставших звенели как веселые колокола в цветущее пасхальное утро.

Здесь поселились овчарки и ищейка. Но когда ищейка захотела нежно попрощаться с Зайцем, она увидала, что Ушастик улизнул, как только услыхал гончих. И ястребы, сова, горлицы, волк и овца продолжали без него свой путь. Они поняли теперь, что Заяц не смог умереть как они, от недостатка веры, и предпочитал спасаться сам, не ожидая спасенья от Бога.

* * *

Вторым был Рай птиц. Он лежал в прохладной роще. Песни птиц струились на листья ольхи, делая их волнистыми, и стекали в ручей, который передавал их тростнику.

Вдали лежал холм полный весны и сумерек. Нежность склонов его была несравненна. Он дышал одиночеством, ароматом ночной сирени, смешанным с запахом черных роз.

Неожиданно прерываясь, рассыпалась песня соловья, как падают, разбиваясь, в волну хрустальные звезды. Слышалась лишь песня соловья. Задумчивый холм звучал лишь его песнью. И ночь была рыданьем соловья.

Тогда в рощах занялась заря, краснея за свою наготу, среди хора птиц. Их свисты рождались постепенно, настолько отяжелели крылья от любви и росы.

В зеленой ржи не звала еще перепелка. Синицы с черными головами шумели в темных фиговых деревьях, как голыши в воде. Зеленый дятел, как горсть травы, сорванной на золотой лужайке, с цветком заячьего горошка на голове, прорезал своим криком воздух. Он направился к старой яблоне с наивными чашечками. Ни одна малиновка, ни один щегленок, ни одна коноплянка не испугались, когда три ястреба и сова вступили в этот край, напитанный цветами.

Хищные птицы сидели высоко, надменны и грустны, со взглядом, устремленным на солнце, ударяя железными крыльями острую и пятнистую грудь. Сова полетела к сумеречному холму, чтобы, зарывшись в одиночной пещере, счастливая в тени и мудрости, слушать жалобы соловья.

Но самое прекрасное убежище избрали горлицы. Они сидели на горьких оливах, покачиваясь в сумерках. Среди них находились и молодые девушки, допущенныя сюда за нежность. Здесь были молодые деву-

шки, вздыхающие и похожие на жимолость, молодые девушки воркующие с плачущими горлицами, — от горлиц Венеции, которые обвевали тоску жен Дожей, до горлиц Иберии, которые приманивали красотой своего клюва смуглых рыбачек. Все горлицы грез — и та, которую вскормила Беатриче, и та, которой Дант дал зерна, и та, которая слышала жалобы Киттерии в ночи, и та, которая вздыхала над плачем Виргинии, когда она напрасно пыталась в ночном источнике под тенью кокоса, успокоить боль нежных ожогов, и та, которой девушка, волнуемая склоном лета, в саду, где умирают сливы, доверяет страстные послания, чтоб она летела, куда понесут ее крылья.

Там были горлицы из старого дома священника, погребенного под розами, те, которых из своей руки, пропахшей ладаном, кормил Жослен, думая о Лоренции. И горлица, которую дают умирающей девочке; и горлица, которую кладут в некоторых местах на горячий лоб больных; и слепая горлица, вздыхающая так грустно, что привлекает для охотников своих пролетающих сестер; и самая нежная горлица, утешающая старого покинутого поэта в его мансарде.

* * *

Третьим был Рай овец, посреди изумрудной долины, орошаемой ручьями со сказочно-зеленой травой, около озера из перламутра и павлиньих перьев, из лазури и слюды, из шеек колибри и крыльев бабочки.

Полизав скромной соли на граните с золотыми зернами овцы долго грезили. Пучки толстой шерсти, покрывавшей их, лежали как листья под снегом. Этот вид был так чист и ясен, что ресницы ягнят побелели

до их золотистых глаз. Воздух был так прозрачен, что известковые вершины с желтыми полосами выступали выпукло, как под водой. Ковры буков и елей были вытканы из цветов изморози, неба и крови; ветер, коснувшись их, становился более легким, пахучим и ледяным.

Как голубой прилив, подымался пар от драгоценных вершин, переплетенных серебристыми лишаями. Потоки, падая со скалистых зубцов, дымились. И внезапно ангельские стада блеяли к Богу; испуганные колокольчики плакали в тени папоротников. И темная вода потоков преломлялась в лучах.

Меж диких лавров лежала найденная овца Евангелия. Ее нога, под мордочкой, еще сочилась кровью. Пройденные дороги были трудны, но она скоро оправится от кислой сладости черники. Она уже вздрагивала, слушая голоса своих рассеянных подруг.

Войдя в Рай, овцы, подруги Франциска, увидели ягненка Жана де Лафонтена, склонившегося среди незабудок цвета волны, которая их отражала. Он не спорил больше с волком басни. Он пил, и вода не мутилась. Дикий источник, на который тень плюща уже двести лет бросала грусть, продолжал катить среди травы свои преломленные волны, уносившие, отражая, снежный трепет ягненка.

Они видели, остановившись в блаженных долинах, овец героев Сервантеса, которые, умирая от любви к одной девушке, покинули город, чтобы вести пастушескую жизнь. У этих овец были самые нежные голоса сердец, любящих втайне свои раны. Они пили с травы Богородицы всегда свежие и жгучие слезы этих пастушеских поэтов, ронявших росу из чашечек глаз.

Вдали подымался нестройный шум как прибой Океана. Слышались прерывистые рыданья флейты, эхо пропасти, лай встревоженных собак, падение камня в пу-

стоту, шум водопадов, покрываемый грохотом потоков. Голос народа, идущего в обетованные земли, к гроздям безназванным, к огненным колосьям, смешивался с криком нагруженных ослиц, несущих тяжелые жбаны молока, одежду пастухов, соль и сыры, чешуйчатые как рухляки.



Четвертым был Рай волков, такой голый, что его трудно описать.

На вершине бесплодной горы, в скорби ветров, под пронизывающим туманом они испытывали сладострастие мучеников. Они питались своим голодом, чувствуя едкую радость от ощущения покинутости, от возможности только на одно мгновение и благодаря таким страданиям отречься от любви крови.

Они были отверженцами с несбыточными грезами. Давно уже не могли они приближаться к небесным овцам, белые ресницы которых моргали в зеленом свете. И так как ни одна из них не умирала, волки не могли подстерегать трупов брошенных пастухом при вечном хохоте потока. И они покорились. Их несчастная шерсть, облезлая, как скала, была жалка. Какоето печальное величие царствовало в этом страшном убежище.

Их страдания были настолько трагическими и роковыми, что хотелось поцеловать лоб этих бедных плотоядных, застигнутых за убийством ягнят. Красота Рая,

где друг Франциска поселился, заключалась в скорби и безнадежном отчаянии.

И над этой страной небо животных расстилалось до бесконечности.

* * *

Что касается Зайца, то он, при виде небесной псарни, скрылся. Пока Франциск оставался с ним, он верил в Франциска. Но в обители счастливых к нему вернулась недоверчивость сельского жителя. Не находя своего Рая, не вкусивши прекрасного покоя и в то же время не видя знакомых опасностей, с которыми он умел бороться, Ушастик пришел в замешательство.

Так бродил он, сам не свой, не узнавая себя, не понимая, кого он должен бояться и кто боится его. Что же это было? На небе не было счастья. Где же может быть больший покой? В какой иной норе мог Заячья Губа теперь лучше мечтать во сне, чем в своей постели из шерсти, разостланной ветром под цветущими кустами звезд?

Он перестал спать: ему недоставало тревоги и многого другого. Сидя в небесном овраге он не чувствовал, как его пронизывает дрожь. Мошки, спрятанные в своем Раю прудов, своими укусами не жалили больше его всегда поднятых век. И он жалел об этом. Его сердце не билось больше торжественно как прежде, когда на холмике, зажженном вереском выстрел заставлял осыпаться песок. На его мозолистых лапах, ласкаемых гладкими лужайками, начала прорастать несчастная шерсть. И он начал оплакивать блеск неба. Был он как садовник, ставший королем, который, на-

девая пурпурные сандалии, жалеет о своих деревянных башмаках, отягощенных глиной и бедностью.

Франциск в своем Раю узнал о печали Стертой Лапки и об его неурядицах. Его сердце мучилось от того, что один из его старых товарищей был несчастлив. С тех пор улицы небесной деревушки, где он жил, стали казаться ему менее мирными, вечерние реки менее нежными, менее белым дыхание лилий, менее святым блеск рубанка в лавке, менее светлою вода блестящих кувшинов, поливавшая свежую траву и заставлявшая трепетать тело ангелов, сидящих на перекладине колодца.

* * *

Тогда Франциск отправился к Богу, и Господь принял его в своем саду на склоне дня. Это был Божий сад, самый скромный, но и самый прекрасный. Никто не знал, в чем его очарование. Может быть, оно исходило от любви. Вдоль изъеденных временем стен свешивалась темная сирень. На счастливых камнях улыбались мхи и золотыми устами пили темные сердца фиалок. Здесь царил рассеянный свет, не знавший ни зари, ни сумерек, но более прекрасный, чем они. На грядке цвел голубой чеснок. Тайна окружала круглый цветок, неподвижный на высоком стебле. Видно было, что он мечтал. О чем? Может быть, о работе своей души, певшей зимним вечером в котле бедняков, где кипит суп. О божественная судьба! Недалеко от буковой аллеи салат источал немые слова. Важный свет окружал задремавшие лейки; их работа была закончена.

И без унижения и без гордости, светло и доверчиво шалфей посылал Богу свой жалкий аромат.

Франциск сел рядом с Богом на скамейку, осененную ясенем. И Бог сказал Франциску:

«Я знаю что тебя привело сюда. Каждое существо, будь то клещ или заяц, должно обрести свой Рай. Пойди к Стертой Лапке и спроси, чего он хочет. И когда он скажет, я сделаю. Если он не хотел умереть с другими и воскреснуть — это потому, что его сердце слишком привязано к моей возлюбленной Земле. О, Франциск, как этот Ушастик, глубокой любовью Я люблю землю. Я люблю землю людей и животных, цветов и камней. О, Франциск, пойди отыщи Зайца и скажи ему, что Я его друг».

* * *

Франциск отправился в Рай животных, — никогда туда не проникали люди, кроме молоденьких девушек. Он встретил там Зайца, бродившего в отчаянии. Но только Ушастик заметил своего господина, как начал выказывать страшную радость, незаметно дрожа и глядя еще неподвижнее, чем всегда.

— Здравствуй, мой брат, — сказал Франциск. — Я чуял, как страдает твое сердце, и пришел сюда, чтобы ты мне рассказал о своей печали. Может быть, ты ел слишком много горьких зерен. Почему ты не наслаждаешься миром, как белые ягнята и горлицы? О, полевой бродяжка, что ты ищешь тревожно здесь, здесь, где никогда ты не услышишь дыханья собак, бегущих за твоей бедной шерсткой?

— О милый, друг, я ищу здесь моего Бога, — ответил Заячья Губа. — Пока ты был им на земле, я оста-

вался спокойным. Но здесь в Раю я заблудился, не чувствуя рядом тебя, о божественный друг животных. Моя душа страдает, не находя Бога.

— Думаешь ли ты, — продолжал Франциск, — что Бог покинул зайцев и что они одни на свете не могут войти в Рай?!

— О, нет, — ответил ему Стертая Лапка, — я не думаю об этих вещах. Я шел за тобой потому, что научился узнавать тебя, как плетень. Тщетно я искал в этих лугах Бога, о котором ты говоришь. Мои спутники нашли его тотчас и вошли каждый в свой Рай, я же блуждаю. С той минуты, когда мы расстались с тобой и я попал на небо, тоска по земле заставляет биться мое дикое и ребяческое сердце.

О Франциск, о мой друг, о моя единая вера, отдай мне землю. Я чувствую что здесь я не у себя. Верни мне мои грязные борозды, мои глинистые тропинки. Верни мне мою долину, где рожок охотника колебал туманы. Верни мне ямочку, где я слушал, как благовест, лай гончих с висячими ушами. Верни мне мой страх. Верни мне мой ужас. Верни мне мой луг, на котором ты нашел меня. Верни мне зарю на реке, откуда осторожный рыболов вытаскивает угрей. Верни мне отаву, синюю от луны, и мою тайную пугливую любовь в диком щавеле, когда я больше не отличал падающий лепесток шиповника от розового языка моей подруги. Верни мне мою слабость. И пойди скажи Богу, что я не в силах больше оставаться у Него.

— О Стертая Лапка, — ответил Франциск, — о мой друг, о нежный боязливый простак, о Заяц с малой верой, богохульник, если ты не нашел твоего Бога, то это потому, что ты не умер, как твои товарищи.

— Но, если я умру, чем я стану?— воскликнул Рыжая Шерстка.

И Франциск ответил:



— Если ты умрешь, ты станешь своим Раем.

* * *

Беседуя так, они пришли к границе Рая животных. Здесь начинался Рай людей. Заяц опустил голову и прочел на маленьком домике надпись, указывающую направление.

| Кастети-Балансон 5 к. |
| --- |

День был такой жаркий, что надпись, казалось, трепетала. Вдали дорога пылила, как в сестре Анне, когда говорят: «сестра, ты ничего не видишь?» Бледная сухость ее была прекрасна, горько напитанная мятой.

И Заяц увидел лошадь, запряженную в тележку.

Это была кляча, тащившая одноколку. Она могла идти только галопом. Расслабленный остов ее подпрыгивал от каждого шага, хомут покачивался, и землистая грива, зеленая и блестящая, как борода старого моряка, моталась из стороны в сторону. Животное с трудом подымало распухшие как булыжник копыта.

Тогда сомнение, более сильное, чем все входившие до сих пор в душу Зайца, пронзило его.

* * *

Это сомнение было маленькой дробинкой, вошедшей через затылок в мозг Ушастика. Волна крови, более прекрасная, чем горящая осень, развернулась перед его глазами, в которых занимались уже вечные тени. Он кричал. Пальцы охотника сжимали его горло, душили. Сердце его, бившееся раньше как бледный шиповник в утренний час, теперь замолкало. Одно мгновение он оставался в руках своего убийцы неподвижным и вытянутым, как смерть. Потом старый Стертая Лапка подпрыгнул. Его когти тщетно старались достичь земли, но охотник не выпускал его. Заяц медленно, мало-помалу, кончался...

Внезапно он ощетинился и стал похожим на жниво, в котором он прятался со своим братом маком и сестрой перепелкой, похожий также на глину, в которой он мочил свои бедные лапы, похожий еще на осеннюю листву, на холмик, форму которого он теперь принял, похожий на яму, в которой он, как благовест, слушал лай гончих с висящими ушами, похожий на сухую скалу — любимицу травки Богородицы, похожий на грубую одежду Франциска, похожий своим взглядом, в котором расстилалась теперь ночная лазурь, на лужайку, где его ожидало меж сердец дикого щавеля сердце подруги, похожий своими слезами на ангельский источник, у которого сидит рыболов и поправляет свои снасти, похожий на жизнь, похожий на смерть, похожий на самого себя, похожий на свой Рай.



# ДОБРОТА
# БОГА

Это была хорошенькая маленькая женщина; она работала в магазине. Если хотите, она не была очень умна, но ее глаза, темные и нежные, глядели немного грустно на вас. Она была такой же простой, как и ее скромная комнатка, в ней она жила с маленькой кошкой. Каждое утро, уходя на работу, она оставляла немного молока в миске.

У кошки, как и у ее хозяйки, были хорошие печальные глаза. Она любила греться на солнце, лежа на подоконнике, где стояла герань, и облизывая лапку как кисточку, причесывать ею короткую шерсть на голове. В один день кошка и ее хозяйка сделались беременными, одна от прекрасного господина, который бросил ее, другая от прекрасного кота, который сбежал...

Но в то время как бедная женщина захворала и целыми днями плакала, кошка убаюкивала себя, мурлыча на солнце, лизала свой белый живот и забавно топорщилась. Однажды молодая работница получила письмо. Прекрасный господин, покинувший ее, теперь посылал ей в подарок 25 франков и говорил о своем благородстве. Она купила печурку, угля, на су спичек и покончила с собой.

Когда она пришла на небо, молодой священник не хотел впустить ее, и маленькая женщина дрожала от мысли, что она была беременна и что Господин осудит ее.

Но Добрый Бог сказал:

— Голубушка, я приготовил для вас хорошенькую комнатку, идите и рожайте. На небе все проходит хорошо, и вы не умрете.

Войдя в комнату, приготовленную для нее в Небесной лечебнице, она увидела, что Добрый Бог хотел порадовать ее; в ящике лежала ее любимая кошка. На подоконнике стояла герань.

У нее родилась хорошенькая белобрысая девочка, а у кошки четыре великолепных черных котенка.

# РАЙ
# ЖИВОТНЫХ

Несчастная старая лошадь, запряженная в карету, дремала дождливой ночью у слепой двери ресторана, где смеялись женщины и молодые люди. Бедная кобыла с опущенной вниз головой и слабыми ногами, бесконечно печальная, ждала, чтоб кутилы позволили ей, наконец, добраться до ее вонючей жалкой конюшни. В полусне слышала лошадь грубые окрики этих людей. Она понимала своим бедным умом, что между визгом вертящегося колеса, всегда одним и тем же, и криком уличной женщины нет никакой разницы.

Сегодня она грезила смутно о маленьком жеребенке, которым была когда-то, о поляне, где она прыгала, совсем розовая, на зеленой траве, вместе с матерью. Вдруг она упала замертво на скользкую мостовую.

Она пришла ко вратам Неба. Великий ученый, ждавший, что св. Петр отворит ему, сказал лошади:

— Что ты здесь делаешь? Ты не имеешь права войти сюда. Я имею право, потому что рожден женщиной.

И бедная кляча ответила ему:

— Моя мать была нежной кобылой. Она умерла старой, искусанной пиявками. Я пришла к Доброму Богу спросить, не здесь ли она.

Тогда врата открылись настежь, и показался рай животных.

Старая лошадь увидела свою мать, и та узнала ее.

Она приветствовала ее ржаньем. И когда они вдвоем паслись на Божьем лугу, лошадь с радостью узнала своих старых товарищей по бедности, они теперь были счастливы навеки.

Здесь были и те, что тащили камни, скользя по мостовым городов, осыпаемые ударами и валившиеся под тяжестью телег, здесь были и те, что вертели с завязанными глазами по десяти часов в день карусель, кобылы, которые во время боя быков, проходили по арене

мимо радующихся девушек, внутренностями подметая горячий песок. И были еще и еще другие.

Все они вечно паслись на больших лугах божественного покоя.

Но и другие животные были тоже счастливы.

Кошки, таинственные и изысканные, не слушались даже Бога, и Он улыбался им, забавляясь веревкой, кончик которой кошки трогали с чувством необъяснимой важности.

Собаки, — эти прекрасные матери, проводили время, кормя своих маленьких.

Рыбы плавали, не боясь рыбака, птицы летали, не опасаясь охотника. И все было так.

В этом Раю не было — человека.

# О РОБИНЗОНЕ КРУЗО

Я выписываю эти стихи, написанные мною в Голландии:

...О Робинзон Крузо, прибывши в Амстердам
(Я думаю, что он там был по крайней мере,
Когда он ехал с острова с кокосовыми пальмами),
Как должен был он удивляться крепким молоткам,
Блестевшим в этом городе у каждой двери.
Разглядывал ли он конторы, где сгибаясь,
Приказчики счета за книгами вели,
Хотел ли он расплакаться, припомнив попугая,
Тяжелый зонтик, навсегда оставленный
На острове печальном, скрывшемся вдали.
«О слава Тебе Господи!» он восклицал в смущеньи
Перед тюльпанами в расписанных горшках,
Но он грустил, подумав в это время
О маленькой козе, покинутой на острове,
Которая, быть может, умерла в кустах.

Больше всего на меня действовала в детстве из рассказа и картинок не красота тенистых лоз, не рыба, выуженная веревкой и крючком, не одинокая кокосовая пальма в голубом зное утра, не розовые и красные ковры морских ежей в мелких местах моря, не мясо козы, зажаренное и посоленное морской солью, не яйца сонливых черепах, не лихорадка, умеряемая ромом с водой, не попугай, не домашние кошки и собаки, не опустошающая красота солнца, нарисованного на компасе, не переполненные блюда, которые меня притягивали, может быть, больше всего.... Нет, это была старость Крузо. Когда он, смешавшись с толпой вновь, в возрасте 72 лет, чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо, когда он ожидал лишь покоя смерти, облаченной в прозрачные одежды, когда бесконечная нежность, подобная туманному свету бурь,

струилась в его маленькое жилище в Лондоне. Я приветствую тебя, мой брат Крузо. Меня также ураган жизни забросил на одинокий остров, где я ничего не вижу, кроме тяжелой монотонной воды, да вещей, выбрасываемых морем; одну минуту я разглядываю их. Потом мой сон продолжается в гармонии с застенчивым ропотом вечности, и иногда улыбка пробегает по моему лицу. Пусть циклон затихнет. Пусть в моей старости я увижу под Господними пальмами мое сердце, подобное изгороди из виноградных лоз.

# ГОРЕЧЬ ЖИЗНИ

Некий поэт, по имени Лоран Лорини, остро ощущал горечь жизни. Это мучительный недуг, и тот, кто им страдает, не может видеть людей, животных и окружающие предметы, не испытывая жестокой боли. Кроме того, сердце страдальца постоянно терзают сомнения, правильно ли он поступает.

Поэт покинул город, в котором он жил. Он отправился в деревню, чтобы любоваться деревьями, нивами, рекой, внимать крикам перепелок и журчанию ручейков, стрекоту ткацких станков и гулу телеграфных линий. Но все эти картины и звуки только печалили его.

Самые сладостные мысли отзывались для него горечью. А когда он, в надежде отвлечься от своего жестокого недуга, срывал цветок, он заливался слезами, что сорвал его.

Он приехал в село ясным вечером, когда воздух был напоен благоуханием груш. То было прелестное село, вроде тех, что он не раз изображал в своих книгах. Тут была главная площадь, церковь, кладбище, сады, кузница и темный постоялый двор, из которого валил синеватый дым, а за окнами мелькали стаканы. Была тут и речка, извивавшаяся под сенью дикого орешника.

Больной поэт грустно опустился на камень. Он думал о пытке, которая неотступно терзает его, о матери, оплакивающей его отсутствие, о женщинах, его обманувших, и сокрушался при мысли, что время первого причастия минуло для него навсегда.

«Сердцу моему, печальному моему сердцу не суждено измениться», — думал он.

Вдруг он увидел возле себя молодую крестьянку, — под звездным небом она гнала домой гусей. Крестьянка спросила у него:

— Отчего ты плачешь?

Он ответил:

— Душа моя, низвергаясь на землю, больно ушиблась. Выздороветь я не могу, ибо у меня слишком тяжело на сердце.

— Хочешь мое? — сказала она. — Оно легкое. А я возьму твое, и меня оно не обременит. Мне ведь не привыкать к тяжелой ноше.

Поэт отдал ей свое сердце, а ее сердце взял себе. И тотчас же они улыбнулись друг другу и рука об руку пошли по тропинкам.

Гуси, как дольки луны, бежали впереди них.

Она говорила ему:

— Я знаю, что ты ученый и что я не могу знать того, что ты знаешь. Но я знаю, что люблю тебя. Ты пришел издалека и, верно, родился в красивой колыбельке, вроде той, какую я видела однажды, ее везли на телеге. Смастерили ее для богачей. Твоя мать, должно быть, умеет говорить красивые слова. Я люблю тебя. Ты, должно быть, проводил ночи с белолицыми женщинами, а я кажусь тебе уродливой и черной. Я-то родилась не в красивой колыбельке. Я родилась в поле, в пору жатвы, среди снопов. Так мне сказывали, а еще сказывали, что матушку мою и меня, да еще ягненка, которого овца родила в тот же день, — всех троих нас посадили на осла, чтобы довезти до дому. У богачей-то есть лошади.

Он говорил ей:

— Я знаю, что ты простая и что я не могу стать таким, как ты. Но я знаю, что люблю тебя. Ты здешняя, и, должно быть, баюкали тебя в корзине, поставленной на черный стул, вроде того, какой я видел однажды на картинке. Я люблю тебя. Матушка твоя, должно быть, сучит лен. Ты, должно быть, плясала под деревьями с красавцами парнями, сильными и веселы-

ми, а я кажусь тебе хилым и грустным. Я родился не в поле в пору жатвы. Мы с сестрой родились в нарядной комнате, мы были близнецами, но она вскоре умерла. Матушка моя хворала. Бедняки наделены здоровьем.

Они лежали вместе в постели и теперь обнялись еще крепче.

Она говорила ему:

— У меня твое сердце.

Он говорил ей:

— У меня твое сердце.

У них родился прелестный мальчик.

И поэт, почувствовав, что недуг его прошел, сказал жене:

— Моя мать не знает, что со мной сталось. Когда я думаю об этом, у меня сжимается сердце. Отпусти меня, друг мой, в город сказать ей, что я счастлив и что у меня сын.

Она улыбнулась ему, зная, что в залог у нее остается его сердце, и сказала:

— Поезжай.

И он вновь отправился по тем же дорогам, по каким прибыл в эти края.

Вскоре он оказался у городских ворот, возле великолепного дома, откуда доносился смех и веселая речь, потому что там давали вечер, на который не пригласили бедняков, Поэт знал, что это дом одного из его прежних друзей, знаменитого и богатого художника. Прислушиваясь к разговорам, он остановился у решетки парка, за которой видны были водометы и статуи. Женщина, — он узнал ее по голосу, — красавица, некогда растерзавшая его юношеское сердце, говорила кому-то:

— Помните великого поэта Лорана Лорини?.. Говорят, он женился на совсем простой девушке, на крестьянке какой-то...

На глаза его набежали слезы, и он пошел по городским улицам к отчему дому. Плиты мостовой тихо вторили звукам его усталых шагов. Он отворил дверь, вошел. И его собака, ласковая, преданная и старая, подбежала к нему, хромая, радостно залаяла и стала лизать ему руку. Он понял, что, пока он отсутствовал, бедную тварь разбил паралич, ведь горести и время не щадят и животных.

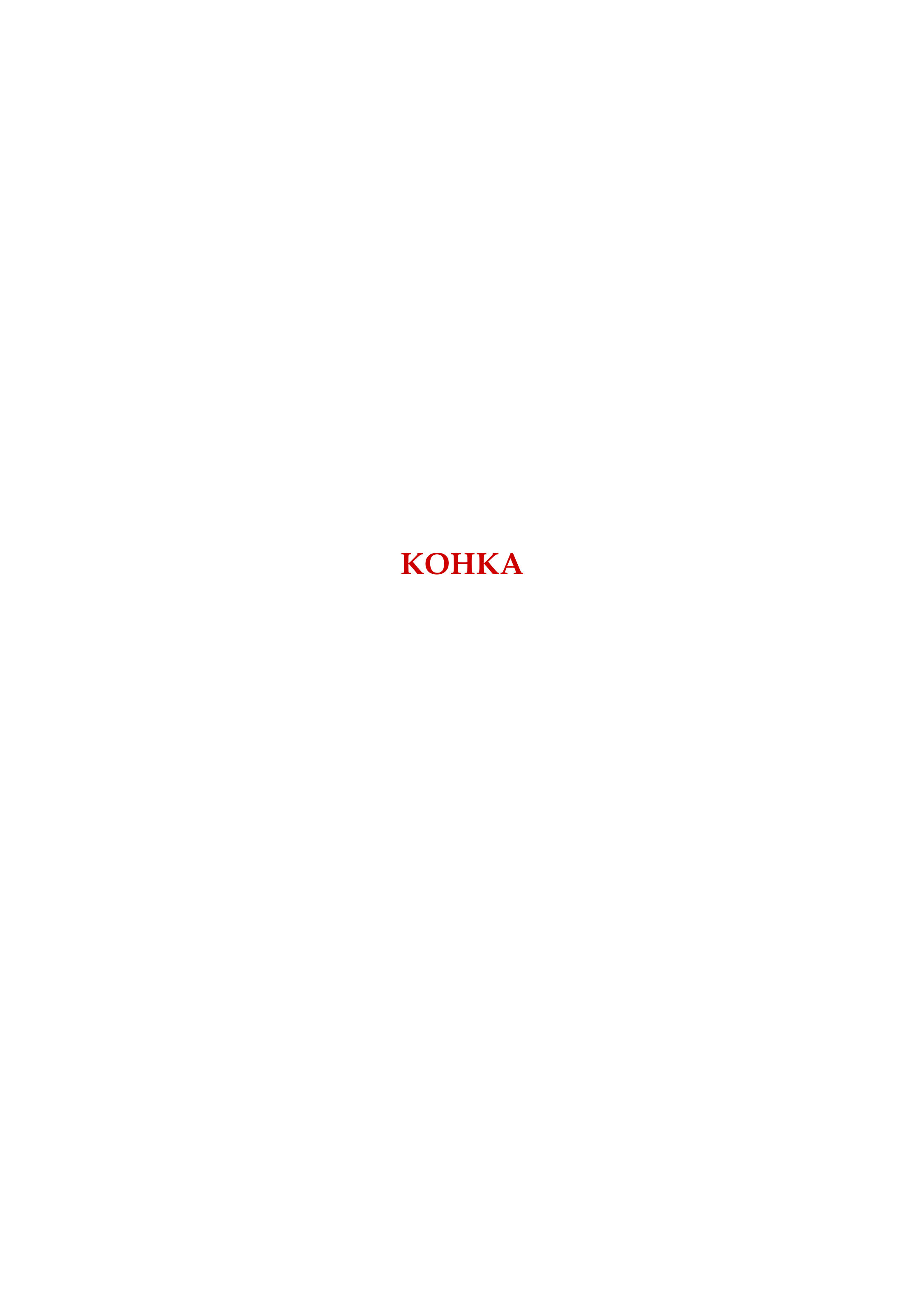
Лоран Лорини стал подниматься по лестнице и растрогался, увидев у перил старого кота — он кружился, выгибал спину, задирал хвост и терся о ступени. На площадке приветливо пробили часы.

Он тихо вошел в свою комнату. Он увидел мать — она стояла на коленях и молилась. Она шептала:

— Боже мой, сохрани моему сыну жизнь! Боже мой, ведь он так мучился... Где он теперь? Прости меня, что я его родила. Прости его, что из-за него я умираю.

А он, преклонив колени рядом с нею, уже прижимался юными устами к ее поседевшим волосам и говорил:

— Пойдем со мною. Я исцелился. Я знаю край, где есть деревья, нивы, речка, где слышится крик перепелок и стрекот ткацких станков, где гудят телеграфные линии, где скромная женщина владеет моим сердцем и где резвится твой внук.



# КОНКА

Жил на свете скромный мастеровой. У него была хорошая жена и славная маленькая дочка. Они жили в большом городе.

По случаю дня рождения отца решено было купить отличного салата и зажарить курицу. И все были в то воскресное утро очень довольны, не исключая и котенка, который лукаво посматривал на курицу и думал: «И мне достанется поглодать вкусных косточек».

Они позавтракали, и отец сказал:

— Сегодня мы, в кои-то веки, позволим себе прокатиться на конке и отправимся за город.

Они вышли из дома.

Они не раз видели, как нарядные господа и дамы подавали рукою знак вознице и тот сразу же останавливал лошадей, чтобы можно было сесть на конку.

Мастеровой держал дочку на руках. Они с женой стали на углу широкой улицы.

К ним приближалась нарядная, почти пустая конка. И они уже радовались, что вот-вот, заплатив по четыре су за каждого, займут в ней места. Мастеровой подал знак вознице, чтобы тот остановил лошадей. Но возница, при виде бедных, простых людей, бросил на них презрительный взгляд и проехал мимо.

# ИЗБРАННЫЕ



# СТИХОТВОРЕНИЯ

Подростком-девочкой с подстриженною челкой
В свой пансион она ходила каждый день
И на каникулы, когда цветет сирень,
Любила уезжать в зеленой одноколке.

Легко спускается с холма ее гнедой,
Коляска чуть жива (семейство не богато...
Одно из тех семейств, прославленных когда-то,
Где бедность не щадит осанки родовой).

Такими полюбил я школьниц прежних дней,
В чьих звучных именах, восторженно-печальных,
Есть нежность «рококо» и стиль «листов похвальных»
С овальной рамкою из золотых ветвей.

О, Клара д'Элебез, Виктория Дерваль,
Лаура д'Этремон, Мари де Лавалэ,
О, Лия Фланширэз, о, Бланш де Персиваль,
Тереза Лиммерайль и Сильва Лабулэ!

Я думаю о вас, чей милый голос слышен
Сквозь частую сирень в поместьях до сих пор,
Кто любит яблоки и вкус неспелых вишен,
Сквозной узор ворот и подметенный двор.

Вы проведете жизнь в домах гостеприимных,
Где вилки и ножи беседе в такт звенят,
Где в окнах виден пруд, а из-за тучи дымной
В стекло оранжерей бьет розовый закат.

Потом в свой час зажгут вам свадебные свечи,
И молодой сосед (он нежный был жених)
В постели целовать вам будет грудь и плечи,
Да поджидать детей, «умея делать их».

*Пер. В. Рождественского*

Послушай, как в саду, где жимолость цветет,
Снегирь на персике заливисто поет!

Как трель его с водою схожа чистой,
В которой воздух преломлен лучистый!

Мне грустно до смерти, хотя меня
Дарили многие любовью, а одна и нынче влюблена.

Скончалась первая. Скончалась и вторая.
Что сталось с третьей — я не знаю.

Однако есть еще одна.
Она — как нежная луна.

В послеобеденную пору
Мы с ней пойдем гулять по городу —

Быть может, по кварталам богачей,
Вдоль вилл и парков, где не счесть затей.

Решетки, розы, лавры и ворота
Сплошь на запоре, словно знают что-то.

Ах, будь я тоже богачом,
Мы с Амарильей жили б здесь вдвоем.

Ее зову я Амарильей. Это
Звучит смешно? Ничуть — в устах поэта.

Ты полагаешь, в двадцать восемь лет
Приятно сознавать, что ты поэт?

Имея десять франков в кошельке,
Я в страшной нахожусь тоске.

Но Амарилье, заключаю я,
Нужны не деньги, а любовь моя.

Пусть мне не платят гонорара даже
В «Меркюре», даже в «Эрмитаже» —

Что ж? Амарилья кроткая моя
Умна и рассудительна, как я.

Полсотни франков нам бы надобно всего.
Но можно ль все иметь — и сердце сверх того?

Да если б Ротшильд ей сказал: «Идем ко мне...»
Она ему ответила бы: «Нет!

Я к платью моему не дам вам прикоснуться:
Ведь у меня есть друг, которого люблю я...»

И если б Ротшильд ей сказал: «А как же имя
Того... ну, словом, этого... поэта?»

Она б ответила: «Франсисом Жаммом
Его зовут». Но, думаю, беда

Была бы в том, что Ротшильд о таком
Поэте и не слышал никогда.

*Пер. Б. Лившица*

Зачем влачат волы тяжелый груз телег?
Нам грустно видеть их понуренные лбы,
Страдальческий их взгляд, исполненный мольбы.
Но как же селянин без них промыслит хлеб?

Когда у них уже нет сил, ветеринары
Дают им снадобья, железом жгут каленым.
Потом волы опять, в ярем впрягаясь старый,
Волочат борону по полосам взрыхленным.

Порой случается, сломает ногу вол:
Тогда его ведут на бойню преспокойно,
Вола, внимавшего сверчку на ниве знойной,

Вола, который весь свой век послушно брел
Под окрики крестьян, уставших от труда,
На жарком солнце — брел, не зная сам куда.

*Пер. Б. Лившица*

Он мирно на куске своей земли живет,
Стрижет кусты и собирает мед.
И в винограднике имеет уголок,
Чтобы из бочек пробовать бродящий сок.
А заяц ест его салат, забравшись в сад,
Где в дождь отяжелевшие кусты стоят.
Крестьянин с гербовым листом идет к нему,
Чтоб разузнать как деньги получить ему.
Ружье он чистит и с служанкой спит.
Так жизнь его проходит, он доволен, сыт.
Когда то право он учил...
С эпохи той
Портрет остался, напомаженный, худой.
В дни романической дуэли из-за дам
С газетою в руке он прямо смотрит там.
Как старики его страдали, наконец
Одно письмо от женщины нашел отец.
Однажды вечером вернулся он домой
С большой копной волос усталый и худой.
Поплакав, он похоронил отца и мать,
Которых трогательно любить вспоминать.
Он одинок и, как болтают все,
Оставит дом свой Дюмерассам иль Кассе;

Так проживает он один вблизи дубов,
Проводит в кухне ряд осенних вечеров,
Где спит собака у его горячих ног,
А мухи пачкают беленый потолок.
А иногда, проснувшись утром, снова он
Пред свыкшейся служанкой пробует тромбон.
Так день за днем, к чему не зная, он живет,
Однажды родился он, однажды и умрет.

*Пер. И. Эренбурга*

Есть здесь старинный дом пустой и мрачный,
Как это сердце, пасмурными днями,
В нем маки под дождем, клонясь и плача,
Двор мокрый осыпают лепестками.
Когда-то были отперты ворота,
Камин топился, заливая светом
Экран зеленый, на котором кто-то
Изобразить хотел «Зиму и Лето».
Докладывали о приезде Парсивалей,
Приехавших из города с поклоном,
Вдруг становилось шумно в тихой зале
И взрослые встречались церемонно.
А в это время маленькие дети
Играли в прятки или в зале длинной
Разглядывали старые портреты
И ракушки смешные на камине.
А старики вздыхали над портретом,
Какого-то из внуков вспоминая,
Что умер он в коллеже ранним летом,
«Как форма шла ему», и мать родная
Рассказывала, как он был привязан
К родителям, боясь им сделать больно
И бедного ребенка вспомнив сразу,
Она в платочек плакала невольно.
Теперь и мать забыта, пусто, мрачно,
Как в этом сердце пасмурными днями
Как за воротами, где маки, плача,
Двор мокрый осыпают лепестками.

*Пер. И. Эренбурга*

Артуру Жассерио.

В экипаже ехал я в деревню эту,
Услыхав, что в ней когда-то жили предки.
Над полями, где мы тихо проезжали,
Грустно голуби тяжелые летали.
Старая, давно уставшая кобыла,
Пыльный экипаж едва-едва тащила,
И я думал о наивных предках,
Из деревни выезжавших редко,
В воскресенье, в накрахмаленных рубашках
Шедших в церковь бедную меж пашней.
Ехал я, чтоб поглядеть на их могилы,
Скрытые, наверное, густой крапивой.
Я приехал, снял с моих колен собаку,
Не хотевшую с коляской расставаться.
Башня старая стояла как когда-то,
На часах я увидал двенадцать.
Я расспрашивал, но люди, отвечая,
Удивлялись: «Это имя... мы не знаем...»,
«От одной старушки вы б узнать сумели,
Но старуха умерла на той неделе».
Я отправился к нотариусу, который
Вместо прадеда имел в селе контору,
Пробовал расспрашивать кюре седого,
Тоже не сумевшего сказать ни слова.
На меня глядели домики, в которых
Не живет никто, и ветхие заборы,
Двери с пылью старой, навсегда нависшей,
Точно двери тихих склепов на кладбищах.
Я прошел, задумавшись, не замечая
Новых флагов на торжественной мэрии,
Разных глупостей и новостей в селеньи,
Надписи «республика» и объявлений.
Наконец, я подошел к большим воротам;
В доме, за обвитой розами решеткой,
Жило старое и доброе семейство.

Старый господин и дама вышли вместе;
Очень милая и сгорбленная дама
Мне ответила: «Ах вы один из Жаммов».
Да, они когда-то жили в этом месте,
Сын нотариуса уехал в путешествие,
Мы разрушенным и сгнившим дом купили,
Старый дом, в котором ваши предки жили»,
И доставши ржавый ключ из кухни,
Повели они меня к большой и прочной
Заржавелой двери с ржавым молоточком;
Окна грустные навек закрыты были
Смертью, временем и многолетней пылью.
Я пошел по лестницам червивым, сгнившим
В комнаты забытые, где нет ли мыши,
С штукатуркой обветшалой и с сырыми,
Низкими перегородками меж ними.
Двери в старых комнатах носили траур,
Почерневшие как будто от пожара.
Мне показывали комнаты, в которых
Жили умершие, «здесь была контора».
Я, простившись с милою семьею,
Сел в коляску, посеревшую от зноя,
Чтоб успеть добраться в городок далекий.
И мы ехали на солнечном припеке.
Лошадь бедная печально побежала,
И собака маленькая задремала.
Грустно голуби тяжелые летали
Над полями, где мы тихо проезжали.

*Пер. И. Эренбурга*

Собака в снег пугается идти, и ей
Ребята со двора кричат «Пошла скорей»...
На снежной улице не слышно никого.
Молочница, идя, трясется для того,
Чтоб не упасть. А дома в низком камельке
Огонь трещит, свистит и пахнет на руке...

*Пер. И. Эренбурга*

## ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «ЖАН НУАРРЬО»

Когда вернется осень снова,
Я счастья не хочу иного,
Как леса бледно-золотого,
Как песни жалобной слепого,
Как колокольчика коровы...

Когда придет зима с дождями,
Хочу я, чтобы в печке пламя,
Шумело красными углями;
Чтоб свет виднелся вечерами
В лавчонке с горькими хлебами...

Весной мне ничего не надо,
Как ветра острого, прохлады,
Расцветшего без листьев сада,
Тропинки мокрой у ограды
И ландышей, что утру рады.

*Пер. И. Эренбурга*

Уж завтра будет год, как я в Одо печальный
Срывал цветы на мокрой от дождя опушке.
Сегодня самый лучший день из дней пасхальных,
А я поехал мимо дальней деревушки
И мимо рощ, лугов, покрытых вешней влагой.
Как, сердце, ты не перестало биться за год?..
Я мучаю тебя, вернувшись к той долине,
Где в прошлый год я столько муки вынес.
Увидев розы в садике убогой церкви
И белую сирень, нависшую над дверцей,
Я вспомнил о своей прошедшей боли,
И удивляюсь, как я не упал невольно,
Никем не сдержанный, в отчаяньи, в бессильи
На узкую тропинку желтую от пыли.
Нет никого, и все и все на свете пусто...
Зачем я родился, зачем теперь живу я.
О если бы сложить к твоим коленям душу,
Что валится как нищенка на мостовую.
Уснуть, забыться бы, суметь уснуть надолго
Под синим ливнем, под грозой, под тучей желтой.
Не видеть ни холмов и ни лазури синей,
Повисшей тяжело над синею долиной.
Мне кажется, что кто-то плачет в сердце этом,
Кого на самом деле в этом сердце нету.
Деревня засыпает, наступает вечер,
И радостно трещит в густой траве кузнечик;
И в домике, спокойно задремавшем к ночи,
Меж сит белеют шляпы круглые рабочих.

*Пер. И. Эренбурга*

Висит на белой стенке у кровати,
Похожая на негритянку, Богоматерь.
И я Ее люблю слегка по-итальянски.
Вирго Лауретана, в золотом уборе
Ты мне напоминаешь городок у моря,
Где продают, крича, на набережных длинных
Полипов, всякие плоды и апельсины.
Вирго Лауретана, в эти дни печали,
Когда она моей любви не принимает,
Меня один Твой строгий образ утешает.

*Пер. И. Эренбурга*

В это утро наша церковь весело звонила,
Оттого что дочь соседа замуж выходила.
И она звонила в славу пышной кукурузы...
И она звонила над гумнами, над сараем,
Где скрипели цепи заржавелые, стихая.
И она звонила над амбарами, над кладовыми
И над девушками темными и золотыми,
Что пришли толпой на свадьбу их подруги милой.
И она звонила... о любви она звонила.
И волы, ступая важно, изумленно словно,
Поворачивали бледные рога к решетке,
Где краснел меж изгороди вьющийся шиповник.
И она звонила... Голуби, топорщась, кротко
Ворковали на блестящих черепицах крыши.
Дочь соседа, как цветок, задумчиво качалась
На своем крыльце меж курами и петухами.
Церковь весело звонила... Каждый звук, казалось,
Расплывался широко над дальними полями.
Пары выстроились у начала огорода
И подруги подошли к застенчивой невесте.
Музыка наивная играла перед шествием.
А поэт, молившись Богу, говорил: Когда-то
Так вступала в Ханаан невеста Исаака,
Скромная Реввека из столь доблестного рода,
Времена не изменились к тем, кто верит в Бога...
Может вот колодец, где Рахиль, ступая босой,
Смуглыми руками робко оправляла косы,
Между тем как Яков ждал ее в тени оливы,
Точно крепкую, созревшую на солнце сливу.

*Пер. И. Эренбурга*

В городке, где показалась Богоматерь,
Тихие ручьи меж зелени струятся.
Камни, стертые водой, блестят сильнее,
И печально голубеют Пиренеи.
На холмистых склонах много трав лечебных,
И звучит, как вздох, торжественное пенье
Всех пришедших, чтоб просить об исцеленьи.
В гроте темном Пресвятая Богоматерь,
Облаченная, решила показаться
Пред ребенком, мудро ставшим на колени,
Бедным и печальным, как Ее младенец.
Божьи гроты в Гефсимане, в Вифлееме,
Ныне снова явлены вы перед всеми.
В дымном гроте, преклонив колени,
В сладком для моей души смиреньи,
Уподобившись безграмотным крестьянам,
Я молюсь. Кругом морщинистые лица,
Руки грубые перебирают четки,
И Господь, как в яслях, глубоко гнездится
В этой вере бедной, сладостной и кроткой.

*Пер. И. Эренбурга*

## Примечания

Основной массив включенных во второй том «Избранного» Ф. Жамма произведений составили переводы И. Эренбурга и Е. Шмидт, опубликованные в сборнике Жамма «Стихи и проза» (М., 1913, далее - СП). Хотя прозаические переводы в данной книге были подписаны Е. О. Шмидт (1889-1977) – первой (гражданской) женой Эренбурга и матерью его дочери Ирины – лексика их не оставляет сомнений в том, что эти переводы были отредактированы и, вероятно, по крайней мере частично выполнены самим Эренбургом. Все тексты из СП публикуются нами в новой орфографии с сохранением оригинальной пунктуации.

### Предисловие

В СП с примечанием: «Эта заметка, впервые помещенная в сборнике G. le Cardonnel et C. Vellay "La litterature contemporaine" (1905 г.), переработана и дополнена Ф. Жаммом для настоящего русского издания». Читатель безусловно распознает многочисленные цитаты из этого предисловия в статье Д. Крючкова, напечатанной в первом томе «Избранного».

С. 7. *Арманда Сильвестра* – Арман Сильвестр (1837-1901) – французский поэт, писатель, литературный критик, автор многочисленных книг.

С. 7. *Теокрита и Руссо* – Феокрит (Теокрит) – древнегреческий поэт III в. д. н.э., известный как автор буколических сочинений; Ж. Ж. Руссо (1712-1778) – выдающийся французский философ, писатель, мыслитель века Просвещения.

С. 7. *Стефан Малларме* – влиятельный французский поэт-символист, литературный критик (1842-1898).

С. 7. *Франсис Виелле-Гриффен* – также Вьеле-Гриффен, французский поэт-символист (1864-1937).

С. 7. *Леконт де Лиль* – Ш. Леконт де Лиль (1818-1894), французский поэт, виднейший представитель Парнасской школы.

С. 8. *Лоэнгрина* – Лоэнгрин – рыцарь, герой немецких произведений о короле Артуре и одноименной оперы Р. Вагнера (1813-1883), премьера которой состоялась в 1850 г.

С. 8. *Метерлинка… рой ослепляющих пчел* – Имеется в виду философское эссе «Жизнь пчел» (1901) бельгийского писателя и драматурга М. Метерлинка (1862-1949), лауреата Нобелевской премии по литературе (1911).

С. 8. А*ндре Жид* – французский писатель (1869-1951), прозаик, драматург и эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1947).

С. 8. *Поль Клодель* – французский поэт (1868-1965), драматург, эссеист, начинавший как символист, позднее ревностный католик, религиозный писатель.

## История зайца

Повесть Ф. Жамма «История зайца» («Le Roman du Lièvre») была написана весной 1902 г. и в сентябре того же года впервые опубликована в журнале «Меркюр де Франс». В 1903 г. вышло первое отдельное издание повести в составе одноименной книги. Жамм считал этот текст одновременно поэмой в прозе и «своего рода благочестивой легендой» (письмо к А. Жиду от 3 авг. 1902).

Повесть неоднократно переиздавалась во Франции, была переведена на десяток языков, причем существует четыре чешских перевода.

С. 13. *…дорога пылила как в сестре Анне* – Отсылка к эпизоду из сказки Ш. Перро (1628-1703) «Синяя борода», где сестра героини видит лишь облако пыли вместо спасителей-братьев.

С. 37. *…Киттерии* – Видимо, имеется в виду св. Китерия, католическая святая, жившая в V в., чью память чтят 22 мая.

С. 37. ...*Виргинии* – Т. е. героини сентименталистского романа французского писателя Б. де Сен-Пьера (1737-1814) «Поль и Виргиния» (1788).

С. 37. *Жослен... Лореции* – Речь идет о персонажах поэмы «Жослен» (1836) французского писателя и поэта А. де Ламартина (1790-1869).

С. 38. ...*ягненка Жана де Лафонтена... волком басни* – Подразумевается басня «Волк и ягненок» французского баснописца Ж. де Лафонтена (1621-1695).

## Доброта бога

Печатается по СП. Пер. Е. Шмидт.

## Рай животных

Печатается по СП. Пер. Е. Шмидт.

## О Робинзоне Крузо

Печатается по СП. Пер. Е. Шмидт. В тексте изменено устаревшее написание «Крузэ».

## Горечь жизни

Впервые в кн. «Le Roman du Lièvre» (1903). Печатается по изданию: Французская новелла XX века: 1900-1939. М., 1973. Пер. Е. Гунста.

## Конка

Впервые в кн. «Le Roman du Lièvre» (1903). Печатается по изданию: Французская новелла XX века: 1900-1939. М., 1973. Пер. Е. Гунста.

## Избранные стихотворения

Тексты печатаются по СП, а также изданиям: Рождественский В. Стихотворения (Л., 1985) и Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания (Л., 1989).

Стихотворениям Жамма в СП предпослано следующее «Предисловие переводчика»:

«Я полагаю, что для совершенного перевода стихотворений необходимо, чтобы переводчик перестал быть самим собой, перевоплотился, стал автором. Этого сделать мне не удалось. Простота, детская наивность, уклад жизни, наконец вера в Бога и Церковь Жамма почти всегда являлись для меня лишь недостижимым идеалом. Вот почему, не говоря уж о силе, читатель никогда не найдет в этой книге того подлинного, своеобразного, что составляет главную прелесть стихов Жамма. Я чувствую, как часто я обескрашивал его образы, сглаживал его обороты и заменял его язык “общепоэтическим”.

Также несвободен был я в выборе стихотворений. Мне не удалось почти перевести его последних стихов (1905-1912), написанных после обращения в католичество. Я переводил каждый раз не то, что любил и хотел, а то, что мог.

Форма стихотворений Жамма крайне своеобразна, и найти соответствующую ей в русском стихе мне удалось лишь в слабой степени. Ближе других к оригиналу, по форме, стихи, переведенные мной за последнее время (“Полезный календарь”, “Перед зимой”... и др.).

Во всяком случае я буду считать свою задачу выполненной, если эта книга, не давая художественного удовлетворения, все же заинтересует читателя и заставит его обратиться к подлиннику.

Считаю уместным здесь выразить мою благодарность Франсису Жамму, оказавшему мне содействие в этой работе.

*И. Эренбург*».

С. 58. *Подростком-девочкой с подстриженною челкой...* – Одно из стихотворений Жамма, тесно примыкающих к повести «Клара д'Элебез» (см. том I).

С. 76. *Вирго Лауретана* – Virgo Lauretana, Богоматерь Лоретская (*лат.*).

_____

В книге использованы работы художников, иллюстрировавших «Историю зайца» в 1916-1947 гг. – Й. Чапека (с. 11, 22, 25, 39, 56), Р. Зеевальда (с. 14), Ж. Офорта (с. 17, 31, 44) , Р. Лафресне (с. 23) и Ж. Делава (с. 47). На фронтисписе портрет Ф. Жамма раб. С. Гитри. В оформлении обложки использована иллюстрация Ж. Делава.





**SALAMANDRA P.V.V.**